

Лев Николаевич Толстой

Хозяин и работник



Лев Толстой

Хозяин и работник

«Public Domain»

1894–1895

Толстой Л. Н.

Хозяин и работник / Л. Н. Толстой — «Public Domain», 1894–1895

«Это было в семидесятых годах, на другой день после зимнего Николаы. В приходе был праздник, и деревенскому дворнику, купцу второй гильдии Василию Андреичу Брехунову, нельзя было отлучиться: надо было быть в церкви, – он был церковный староста, – и дома надо было принять и угостить родных и знакомых. Но вот последние гости уехали, и Василий Андреич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику для покупки у него давно уже приторговываемой рощи. Василий Андреич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку. Молодой помещик просил за рощу десять тысяч только потому, что Василий Андреич давал за нее семь. Семь же тысяч составляли только одну треть настоящей стоимости рощи...»

© Толстой Л. Н., 1894–1895

© Public Domain, 1894–1895

Содержание

I	5
II	9
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Лев Толстой

Хозяин и работник

I

Это было в семидесятых годах, на другой день после зимнего Никола. В приходе был праздник, и деревенскому дворнику, купцу второй гильдии Василию Андреичу Брехунову, нельзя было отлучиться: надо было быть в церкви, – он был церковный староста, – и дома надо было принять и угостить родных и знакомых. Но вот последние гости уехали, и Василий Андреич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику для покупки у него давно уже приторговываемой рощи. Василий Андреич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку. Молодой помещик просил за рощу десять тысяч только потому, что Василий Андреич давал за нее семь. Семь же тысяч составляли только одну треть настоящей стоимости рощи. Василий Андреич, может быть, выторговал бы и еще, так как лес находился в его округе и между ним и деревенскими уездными купцами уж давно был установлен порядок, по которому один купец не повышал цены в округе другого, но Василий Андреич узнал, что губернские лесоторговцы хотели ехать торговать Горячкинскую рощу, и он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком. И потому, как только отошел праздник, он достал из сундука свои семьсот рублей, добавил к ним находящиеся у него церковных две тысячи триста, так чтобы составилось три тысячи рублей, и, старательно перечтя их и уложив их в бумажник, собрался ехать.

Работник Никита, один в этот день не пьяный из работников Василия Андреича, побежал запрягать. Никита не был пьян в этот день потому, что он был пьяница, и теперь, с заговен, во время которых он пропил с себя поддевку и кожаные сапоги, он зарекся пить и не пил второй месяц; не пил и теперь, несмотря на соблазн везде распиваемого вина в первые два дня праздника.

Никита был пятидесятилетний мужик из ближней деревни, нехозяин, как про него говорили, большую часть своей жизни проживший не дома, а в людях. Везде его ценили за его трудолюбие, ловкость и силу в работе, главное – за добрый, приятный характер; но нигде он не уживался, потому что раза два в год, а то и чаще, запивал, и тогда, кроме того что пропивал все с себя, становился еще буен и придиричив. Василий Андреич тоже несколько раз прогонял его, но потом опять брал, дорожа его честностью, любовью к животным и главное дешевизной. Василий Андреич платил Никите не восемьдесят рублей, сколько стоил такой работник, а рублей сорок, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки.

Жена Никиты, Марфа, когда-то бывшая красивой, бойкая баба, хозяйничала дома с подростком малым и двумя девками и не звала Никиту жить домой, во-первых, потому, что уже лет двадцать жила с бондарем, мужиком из чужой деревни, который стоял у них в доме; а во-вторых, потому, что, хотя она и помыкала мужем как хотела, когда он был трезв, она боялась его, как огня, когда он напивался. Один раз, напившись пьян дома, Никита, вероятно, чтобы выместить жене за все свое трезвое смирение, взломал ее сундук, достал самые драгоценные ее наряды и, взяв топор, на обручке изрубил в мелкую крошку все ее сарафаны и платья. Зажитое Никитой жалование все отдавалось его жене, и Никита не противоречил этому. Так и теперь, за два дня до праздника, Марфа приезжала к Василию Андреичу и забрала у него белой муки, чаю, сахару и осьмуху вина, всего рубля на три, да еще взяла пять рублей деньгами и благодарила за это, как за особую милость, тогда как по самой дешевой цене за Василием Андреичем было рублей двадцать.

– Мы разве с тобой уговоры какие делали? – говорил Василий Андреич Никите. – Нужно – бери, заживешь. У меня не как у людей: подожди, да расчеты, да штрафы. Мы – по чести. Ты мне служишь, и я тебя не оставляю. Тебе нужда, – я вызволю.

И, говоря все это, Василий Андреич был искренно уверен, что он благодетельствует Никиту: так убедительно он умел говорить и так все зависящие от его денег люди, начиная с Никиты, поддерживали его в этом убеждении, что он не обманывает, а благодетельствует их.

– Да я понимаю, Василий Андреич; кажется, служу, стараюсь, как отцу родному, я очень хорошо понимаю, – отвечал Никита, очень хорошо понимая, что Василий Андреич обманывает его, но вместе с тем чувствуя, что нечего и пытаться разьяснить с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают.

Теперь, получив приказание хозяина запрягать, Никита, как всегда, весело и охотно, бодрым и легким шагом своих гусем шагающих ног пошел в сарай, снял там с гвоздя тяжелую ременную с кистью узду и, погромыхивая баранчиками удил, пошел к затворенному хлеву, в котором отдельно стояла та лошадь, которую велел запрягать Василий Андреич.

– Что, соскучился, соскучился, дурачок? – говорил Никита, отвечая на слабое приветственное ржанье, с которым встретил его среднего роста ладный, несколько вислозадый, карачовый, мухортый жеребец, стоявший один в хлевушке. – Но, но! поспеешь, дай прежде напою, – говорил он с лошадей совершенно так, как говорят с понимающими слова существами, и, обмахнув полой жирную, с желобком посредине, разъеденную и засыпанную пылью спину, надел на красивую молодую голову жеребца узду, выпростал ему уши и челку и, скинув оброть, повел поить.

Осторожно выбравшись из высоко занавоженного хлева, Мухортый заиграл и взбрыкнул, притворяясь, что хочет задней ногой ударить рысью бежавшего с ним к колодцу Никиту.

– Балуй, балуй, шельмец! – приговаривал Никита, знавший ту осторожность, с которой Мухортый скидывал задней ногой только так, чтобы коснуться его засаленного полушубка, но не ударить, и особенно любивший эту замашку.

Напившись студеной воды, лошадь вздохнула, пошевеливая мокрыми крепкими губами, с которых капали с усов в корыто прозрачные капли, и замерла, как будто задумавшись; потом вдруг громко фыркнула.

– Не хочешь – не надо, так и знать будем; уж больше не проси, – сказал Никита, совершенно серьезно и обстоятельно разьясняя свое поведение Мухортому; и опять побежал к сараю, подергивая за повод взбрыкивающую и на весь двор потрескивающую веселую молодую лошадь.

Работников никого не было, был только один чужой, пришедший на праздник кухаркин муж.

– Поди спроси, душа милая, – сказал Никита ему, – какие сани велить запрягать: пошевни али махонькие?

Кухаркин муж пошел в железом крытый, на высоком фундаменте дом и скоро вернулся с известием, что велено впрягать махонькие. Никита в это время уже надел хомут, подвязал седелку, обитую гвоздиками, и, в одной руке неся легкую крашеную дугу, а другой ведя лошадь, подходил к двум стоявшим под сараем саням.

– В махонькие так в махонькие, – сказал он и ввел в оглобли все время притворяющуюся, что она хочет кусать его, умную лошадь и с помощью кухаркина мужа стал запрягать.

Когда все было почти готово и оставалось только завожжать, Никита послал кухаркина мужа в сарай за соломой и в амбар за веретем.

– Вот и ладно. Но, но, не топырься! – говорил Никита, уминая в санях принесенную кухаркиным мужем свежемолоченную овсяную солому. – А теперь вот давай дерюжку так постелем, а сверху веретье. Вот так-то, вот так-то и хорошо будет сидеть, – говорил он, делая то, что говорил, подтыкая веретье свех соломы со всех сторон вокруг сиденья.

– Вот спасибо, душа милая, – сказал Никита кухаркину мужу, – вдвоем все спорее. – И, разобрав ременные с кольцом на соединенном конце вожжи, Никита присел на облучок и тронул просившую хода добрую лошадь по мерзлому навозу двора к воротам.

– Дядя Микит, дядюшка, а дядюшка! – закричал сзади его тоненьким голоском торопливо выбежавший из сеней на двор семилетний мальчик в черном полушубочке, новых белых валенках и теплой шапке. – Меня посади, – просил он, на ходу застегивая свой полушубочек.

– Ну, ну, беги, голубок, – сказал Никита и, остановив, посадил просиявшего от радости хозяйского бледного, худенького мальчика и выехал на улицу.

Был час третий. Было морозно – градусов десять, пасмурно и ветрено. Половина неба была закрыта низкой темной тучей. Но на дворе было тихо. На улице же ветер был заметнее: с крыши соседнего сарая мело снег и на углу у бани крутило. Едва только Никита выехал в ворота и завернул лошадь к крыльцу, как и Василий Андреич, с папироской во рту, в крытом овчинном тулупе, туго и низко подпоясанный кушаком, вышел из сеней на повизгивающее под его кожей обшитыми валенками, утоптанное снегом высокое крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папироски, он бросил ее под ноги и наступил на нее и, выпуская через усы дым и косясь на выезжавшую лошадь, стал заправлять с обеих сторон своего румяного, бритого, кроме усов, лица углы воротника тулупа мехом внутрь, так, чтобы мех не потел от дыханья.

– Вишь ты, прокурат какой, поспел уж! – сказал он, увидав сынишку в санях. Василий Андреич был возбужден выпитым с гостями вином и потому еще более, чем обыкновенно, доволен всем тем, что ему принадлежало, и всем тем, что он делал. Вид своего сына, которого он всегда в мыслях называл наследником, доставлял ему теперь большое удовольствие; он, щурясь и оскаливая длинные зубы, смотрел на него.

Закутанная по голове и плечам шерстяным платком, так что только глаза ее были видны, беременная, бледная и худая жена Василия Андреича, провожая его, стояла за ним в сенях.

– Право, Никиту бы взял, – говорила она, робко выступая из-за двери.

Василий Андреич ничего не отвечал и на слова ее, которые были ему, очевидно, неприятны, сердито нахмурился и плюнул.

– С деньгами поедешь, – продолжала тем же жалобным голосом жена. – Да и погода не поднялась бы. Право, ей-богу.

– Что ж я, иль дороги не знаю, что мне непременно провожатого нужно? – проговорил Василий Андреич с тем неестественным напряжением губ, с которым он обыкновенно говорил с продавцами и покупателями, с особенною отчетливостью выговаривая каждый слог.

– Ну, право, взял бы, богом тебя прошу! – повторяла жена, перекутывая платок на другую сторону.

– Вот как банный лист пристала... Ну, куда я его возьму?

– Что ж, Василий Андреич, я готов, – весело сказал Никита. – Только лошадям корма бы без меня дали, – прибавил он, обращаясь к хозяйке.

– Я посмотрю, Никитушка, Семену велю, – сказала хозяйка.

– Так что ж, ехать, что ли, Василий Андреич? – сказал Никита, ожидая.

– Да уж видно уважить старуху. Только коли ехать, поди одень дипломат какой потеплее, – выговорил Василий Андреич, опять улыбаясь и подмигивая глазом на прорванный под мышками и в спине и в подоле бахромой разорванный, засаленный и свалявшийся, всего видавший полушубок Никиты.

– Эй, душа милая, выдь, поддержи лошадь! – крикнул Никита во двор кухаркину мужу.

– Я сам, я сам! – запищал мальчик, вынимая зазябшие красные ручонки из карманов и хватаясь ими за холодные ременные вожжи.

– Только не больно охорашивай дипломат-то свой, поживей! – крикнул Василий Андреич, зубоскаля на Никиту.

– Одним пыхом, батюшка Василий Андреич, – проговорил Никита и, быстро мелькая носками внутрь своими старыми, подшитыми войлочными подметками, валенками, побежал во двор и в рабочую избу.

– Ну-ка, Аринушка, халат давай мой с печи – с хозяином ехать! – проговорил Никита, вбегая в избу и снимая кушак с гвоздя.

Работница, выпавшая после обеда и теперь ставившая самовар для мужа, весело встретила Никиту и, зараженная его поспешностью, так же, как он, быстро зашевелилась и достала с печи сушившийся там плохонький, проношенный суконный кафтан и начала поспешно отряхивать и разминать его.

– То-то тебе с хозяином просторно гулять будет, – сказал Никита кухарке, всегда из добродушной учтивости что-нибудь да говоривший человеку, когда оставался с ним с глазу на глаз.

И, обведя вокруг себя узенький свалывшийся кушачок, он втянул в себя и так тощее брюхо и затянулся по полушубку что было силы.

– Вот так-то, – сказал он после этого, обращаясь уже не к кухарке, а к кушаку, засовывая его концы за пояс. – Так не выскочишь! – и, приподняв и опустив плечи, чтобы была развязность в руках, он надел сверху халат, тоже напряжил спину, чтобы рукам вольно было, подбил под мышками и достал с полки рукавицы. – Ну, вот и ладно.

– Ты бы, Степаныч, ноги-то перебул, – сказала кухарка, – а то сапоги худые.

Никита остановился, как бы вспомнив.

– Надо бы... Ну, да сойдет и так, недалече!

И он побежал на двор.

– Не холодно тебе будет, Никитушка? – сказала хозяйка, когда он подошел к саням.

– Чего холодно, тепло вовсе, – отвечал Никита, оправляя солому в головашках саней, чтобы закрыть ею ноги, и засовывая ненужный для доброй лошади кнут под солому.

Василий Андреич уже сидел в санях, наполняя своей одеждой в двух шубах спину почти весь гнутый задок саней, и тотчас же, взяв вожжи, тронул лошадь. Никита на ходу примостился спереди с левой стороны и высунул одну ногу.

II

Добрый жеребец с легким скрипом полозьев сдвинул санки и бойкой ходою тронулся по накатанной в поселке морозной дороге.

– Ты куда прицепился? Дай сюда кнут, Микита! – крикнул Василий Андреич, очевидно радуясь на наследника, который примостился было сзади на полозьях. – Я тебя! Беги к мамаше, сукин сын.

Мальчик соскочил. Мухортый прибавил иноходи и, заёкав, перешел на рысь.

Кресты, в которых стоял дом Василия Андреича, состояли из шести домов. Как только они выехали за последнюю кузнецову избу, они тотчас же заметили, что ветер гораздо сильнее, чем они думали. Дороги уже почти не видно было. След полозьев тотчас же заметало, и дорогу можно было отличать только по тому, что она была выше остального места. По всему полю курило, и не видно было той черты, где земля сходится с небом. Телятинский лес, всегда хорошо видный, только изредка смутно чернел через снежную пыль. Ветер дул с левой стороны, заворачивая упорно в одну сторону гриву на крутой, наеденной шее Мухортого, и сворачивал набок его простым узлом подвязанный пушистый хвост. Длинный воротник Никиты, сидевшего со стороны ветра, прижимался к его лицу и носу.

– Бегу ей настоящего нет, снежно, – сказал Василий Андреич, гордясь своей хорошей лошадейю. – Я раз в Пашутино ездил на нем же, так он в полчаса доставил.

– Чаго? – спросил, не расслышав из-за воротника, Никита.

– В Пашутино, говорю, в полчаса доехал, – прокричал Василий Андреич.

– Что и говорить, лошадь добрая! – сказал Никита.

Они помолчали. Но Василию Андреичу хотелось говорить.

– Что ж, хозяйке-то, я чай, наказывал бондаря не поить? – заговорил тем же громким голосом Василий Андреич, столь уверенный в том, что Никите должно быть лестно поговорить с таким значительным и умным человеком, как он, и столь довольный своей шуткой, что ему и в голову не приходило, что разговор этот может быть неприятен Никите.

Никита опять не расслышал относимый ветром звук слов хозяина.

Василий Андреич повторил своим громким, отчетливым голосом свою шутку о бондаре.

– Бог с ними, Василий Андреич, я не вникаю в эти дела. Мне чтобы малого она не обижала, а то бог с ней.

– Это так, – сказал Василий Андреич. – Ну, а что ж, лошадь-то будешь покупать к весне? – начал он новый предмет разговора.

– Да не миновать, – отвечал Никита, отворотив воротник кафтана и перегнувшись к хозяину.

Теперь уж разговор был интересен Никите, и он желал все слышать.

– Малый возрос, надо самому пахать, а то все наймали, – сказал он.

– Что ж, берите бескостречного, дорого не положу! – прокричал Василий Андреич, чувствуя себя возбужденным и вследствие этого напададая на любимое, поглощавшее все его умственные силы, занятие – барышничество.

– А то рубликов пятнадцать дадите, я на конной куплю, – сказал Никита, знавший, что красная цена бескостречному, которого хочет ему сбыть Василий Андреич, рублей семь, а что Василий Андреич, отдав ему эту лошадь, будет считать ее рублей в двадцать пять, и тогда за полгода не увидишь от него денег.

– Лошадь хорошая. Я тебе желаю, как самому себе. По совести. Брехунов никакого человека не обидит. Пускай мое пропадает, а не то, чтобы как другие. По чести, – прокричал он своим тем голосом, которым он заговаривал зубы своим продавцам и покупателям. – Лошадь настоящая!

– Как есть, – сказал Никита, вздохнув, и, убедившись, что слушать больше нечего, пустил рукой воротник, который тотчас же закрыл ему ухо и лицо.

С полчаса они ехали молча. Ветер продувал Никите бок и руку, где шуба была прорвана.

Он пожимался и дышал в воротник, закрывавший ему рот, и ему всему было нехолодно.

– Что, как думаешь, на Карамышево поедем али прямо? – спросил Василий Андреич.

На Карамышево езда была по более бойкой дороге, установленной хорошими вешками в два ряда, но – дальше. Прямо было ближе, но дорога была мало езжена и вешек не было или были плохенькие, занесенные.

Никита подумал немного.

– На Карамышево хоть и подальше, да ездovитее, – проговорил он.

– Да ведь прямо только лощинку проехать не сбиться, а там лесом хорошо, – сказал Василий Андреич, которому хотелось ехать прямо.

– Воля ваша, – сказал Никита и опять пустил воротник.

Василий Андреич так и сделал и, отъехав с полверсты, у высокой, мотавшейся от ветра дубовой ветки, с сухими, кой-где державшимися на ней листьями, свернул влево.

Ветер с поворота стал им почти встречный. И сверху пошел снежок. Василий Андреич правил, надувал щеки и пускал дух себе снизу в усы. Никита дремал.

Они молча проехали так минут десять. Вдруг Василий Андреич заговорил что-то.

– Чаго? – спросил Никита, открывая глаза.

Василий Андреич не отвечал, а изгибался, оглядываясь назад и вперед перед лошастью. Лошадь, закурчавившаяся от пота в пахах и на шее, шла шагом.

– Чаго ты, говорю? – повторил Никита.

– Чаго, чаго, – передразнил его Василий Андреич сердито. – Вешек не видать! Должно, сбились!

– Так стой же, я дорогу погляжу, – сказал Никита и, легко соскочив с саней и достав кнут из-под соломы, пошел влево и с той стороны, с которой сидел.

Снег в этом году был неглубокий, так что везде была дорога, но все-таки кое-где он был по колено и засыпался Никите в сапог. Никита ходил, щупал ногами и кнутом, но дороги нигде не было.

– Ну что? – сказал Василий Андреич, когда Никита подошел опять к саням.

– С этой стороны нету дороги. Надо в ту сторону пойти походить.

– Вон что-то впереди чернеет, ты туда дойди погляди, – сказал Василий Андреич.

Никита пошел и туда, подошел к тому, что чернелось, – это чернелась земля, насыпанная с оголенных озимей сверх снега и окрасившая снег черным. Походив и справа, Никита вернулся к саням, обил с себя снег, вытряхнул его из сапога и сел в сани.

– Вправо ехать надо, – сказал он решительно. – Ветер мне в левый бок был, а теперь прямо в морду. Пошел вправо! – решительно сказал он.

Василий Андреич послушал его и взял вправо. Но дороги все не было. Они проехали так несколько времени. Ветер не уменьшался, и пошел снежок.

– А мы, Василий Андреич, видно, вовсе сбились, – вдруг сказал как будто с удовольствием Никита. – Это что? – сказал он, указывая на черную картофельную ботву, торчавшую из-под снега.

Василий Андреич остановил уже вспотевшую и тяжело водившую крутыми боками лошадь.

– А что? – спросил он.

– А то, что мы на Захаровском поле. Вон куда заехали!

– Вре? – откликнулся Василий Андреич.

– Не вру я, Василий Андреич, а правду говорю, – сказал Никита, – и по саням слышно – по картофелишу едем, а вон и кучи, – ботву свозили. Захаровское заводское поле.

– Вишь ты, куда сбились! – сказал Василий Андреич. – Как же быть-то?

– А надо прямо брать, вот и все, куда-нибудь да выедем, – сказал Никита. – Не в Захаровку, так на барский хутор выедем.

Василий Андреич послушался и пустил лошадь, как велел Никита. Они ехали так довольно долго. Иногда они выезжали за оголенные зеленыя, и сани гремели по колчам мерзлой земли, иногда выезжали на жнивье, то на озимое, то на яровое, по которым из-под снега виднелись мотавшиеся от ветра полыни и соломины; иногда выезжали в глубокий, везде одинаково белый ровный снег, сверх которого уже ничего не было видно.

Снег шел сверху и иногда поднимался снизу. Лошадь, очевидно, утомилась, вся закурчавилась и заиндевала от пота и шла шагом. Вдруг она оборвалась и села в водомоину или в канаву. Василий Андреич хотел остановить, но Никита закричал на него.

– Чего держать! Заехали – выезжать надо. Но, миленький! но! но, родной! – закричал он веселым голосом на лошадь, выскакивая из саней и сам увязая в канаве.

Лошадь рванулась и тотчас же выбралась на мерзлую насыпь. Очевидно, это была копаная канава.

– Где ж это мы? – сказал Василий Андреич.

– А вот узнаем! – отвечал Никита. – Трогай знай. Куда-нибудь выедем.

– А ведь это, должно, Горячкинский лес? – сказал Василий Андреич, указывая на что-то черное, показавшееся из-за снега, впереди их.

– Вот подъедем, увидим, какой такой лес, – сказал Никита.

Никита видел, что со стороны черневшегося чего-то неслись сухие продолговатые листья лозины, и потому знал, что это не лес, а жильё, но не хотел говорить.

И действительно, не проехали они еще и десяти саженьей после канавы, как перед ними зачернелись, очевидно, деревья и послышался какой-то новый унылый звук. Никита угадал верно: это был не лес, а ряд высоких лозин с кое-где трепавшимися еще на них листьями. Лозины, очевидно, были обсажены по канаве гумна. Подъехав к уныло гудевшим на ветру лозинам, лошадь вдруг поднялась передними ногами выше саней, выбралась и задними на возвышенье, повернула влево и перестала утопать в снегу по колени. Это была дорога.

– Вот и приехали, – сказал Никита, – а незнамо куда.

Лошадь, не сбиваясь, пошла по занесенной дороге, и не проехали они по ней сорока саженьей, как зачернелась прямая полоса плетня риги под толсто засыпанной снегом крышей, с которой не переставая сыпался снег. Миновав ригу, дорога повернула по ветру, и они въехали в сугроб. Но впереди виднелся проулок между двумя домами, так что, очевидно, сугроб надуло на дороге и надо было переехать его. И действительно, переехав сугроб, они въехали в улицу. У крайнего двора на веревке отчаянно трепалось от ветра развешанное замерзшее бельё: рубахи, одна красная, одна белая, портки, онучи и юбка. Белая рубаха особенно отчаянно рвалась, махая своими рукавами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.